

18+

ВЕРА БЕЗ ГРАНИЦ

РОМАН, ОСНОВАННЫЙ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
ХЕЛЕНА КОКОРИНА-КОВАЛЬ

POLSKA

Warszawa



BIAŁOŚĆ

Mińsk

Rosja
Sowiecka

Сибирь

Кустанай

Кокчетав

Ақмолинск

Қарағанда

Ұсть-Қаменогорск

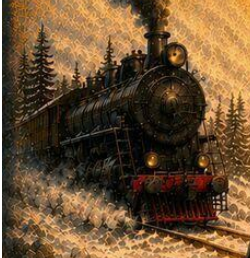
Уральск

КАЗАХСКАЯ ССР

1958 г.

Гурьев

Алма-Ата



Хелена Кокорина-Коваль
Вера без границ.
Роман, основанный
на реальных событиях

<https://litres.ru/74302194>

ISBN 9785007064446

Аннотация

Одна ночь и выстрелы превращают девочку из польского села в сироту, а тайная записка брата становится её единственной опорой. Спустя годы Вера добровольно уезжает в Казахстан, но прошлое не отпускает её, а сила и вера помогают идти дальше. «Вера без границ» — роман, основанный на реальных событиях, о том, что сильнее: расстояния, память или вера и внутренний стержень человека.

Содержание

Предисловие	6
Глава 1.	7
Глава 2.	21
Глава 3.	31
Глава 4.	46
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Вера без границ **Роман, основанный на** **реальных событиях**

Хелена Кокорина-Коваль

Дисклеймер

Иллюстрация (обложка) создана с помощью ИИ Stable diffusion Stable diffusion

© Хелена Кокорина-Коваль, 2026

ISBN 978-5-0070-6444-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В основе этой книги лежат события, происходившие в первой половине и середине XX века, до 1970-х годов включительно. Описанные в тексте обстоятельства, факты и персонажи связаны с историческими реалиями своего времени и не относятся к событиям современной действительности.

Часть фактов, имён и деталей изменена, объединена или художественно переработана. Некоторые географические названия и признаки мест действия переданы в услов-

ном виде. Любые совпадения персонажей с реальными лицами, организациями или современными событиями являются случайными и не должны рассматриваться как прямые отсылки или утверждения о ком-либо.

Книга представляет собой художественное произведение, отражающее авторское восприятие семейной истории и прошедшей эпохи, и не преследует цели давать политические оценки, комментарии или интерпретации актуальных событий.

Предисловие

Эта история основана на реальных событиях XX века, но для меня она прежде всего семейная. Она выросла из судьбы одной женщины и тех, кто был рядом с ней, на фоне войн, переселений и переломов времени.

Это моя благодарность людям, которые тихо проживали свой век, не называя себя героями: моей бабушке Вере и тем, кто оказался рядом с ней в самые трудные годы. Они не делали историю; они каждый день делали своё: работали, растили детей, переживали потери и снова начинали сначала.

Мне было важно сохранить живое человеческое измерение — показать, как один человек пытается удержать себя и своих близких в мире, где слишком многое решают обстоятельства, а не громкие слова. Время меняется, но опыт утраты дома, вынужденных решений, ответственности за других и хрупкой человечности среди больших потрясений остаётся удивительно узнаваемым в любые эпохи, когда людям приходится заново отстраивать свою жизнь. Именно поэтому эта книга, рассказывая о прошлом, обращается и к тому, как важно не потерять в себе человека в те периоды, когда мир меняется быстрее, чем к этому успеваешь приспособиться, и когда особенно нужна внутренняя выдержка, чтобы продолжать жить и оставаться верным себе — в любое время и при любых обстоятельствах.

Глава 1.

Дом, которого больше нет

*Западное приграничье Советской Беларуси.
1920-е годы.*

Ночью в дверь не стучали — её били. Сначала один удар, глухой, как если бы плечом. Потом второй с криком:

— Otwórz! (Открой!)

Анна успела только шепнуть:

— Schowaj dzieci. (Спрячь детей)

Янек схватил сестру за руку так, что хрустнули пальцы, и потащил в тёмную кладовку за печкой. Там пахло уксусом и сушёными грибами, и от этого мир ещё сильнее казался ненастоящим. Через тонкую стену было слышно всё.

— Богатый, грамотный, свою землю держит... — чужой голос по-русски.

— U nas dzieci... (У нас дети) — голос Анны.

Удар по столу. Звон посуды. Собака под лавкой взвыла, как человек.

Когда за стеной раздался первый выстрел, Веруся даже не поняла, что это. Просто воздух дернуло, будто его ударили ладонью.

Потом был ещё один, ближе, и мамин крик:

— Jezu, Maryjo!...

В это мгновение девочка впервые по-настоящему поверила, что молитва иногда приходит позднее, чем выстрел.

Дом в Грудке стоял на пригорке, чуть в стороне от других. Белёные стены, потемневшая от дождей крыша, широкая печь, над которой сушились травы, и маленькое окно, в котором зимой отражался снег и костёл на горизонте. За домом начиналась сама деревня — вытянутая вдоль грунтовой дороги, которая весной превращалась в кашу, а зимой звенела под полозьями саней. Хаты стояли неровными рядами: то ближе к дороге, то отступив в огороды, с низкими заборами из кривых жердей и воротами, которые редко запирали на замок.

Днём здесь всегда кто-то был на виду: женщины с коромыслами у колодца, старики на лавках у солнечной стороны, ребята с палками вместо ружей, гоняющие по канаве кораблики из коры. Собаки лениво дремали у порогов, но стоило чужой телеге показаться на въезде, как поднимался лай — от одного двора к другому, будто деревня переговаривалась сама с собой.

По воскресеньям дорога оживала: из всех переулков тянулись люди к костёлу — кто пешком, кто на телеге, дети, цепляясь за подножки и смеясь. В будни же деревня жила глухими звуками: стук топора по чурке, крик пастуха, звон

ведра о край колодца, далёкий, едва слышный гул поезда, который напоминал, что где-то за лесом есть другой мир.

Осенью вдоль изгородей сохли перевёрнутые бороной гряды картофельной ботвы, висели связки лука, на верёвках колыхались выстиранные рубахи. Весной талые воды стекали по канавам, небо казалось слишком большим для такой маленькой Грудки.

Во дворе пахло дымом, коровьим навозом и хлебом. По утрам над коровником поднимался тёплый пар, куры рылись у крыльца в соломе, а под ногами похрустывал подмёрзший мусор — обронённые зёрна, соломинки, щепки. Летом земля перед домом была вытоптана до тёмного блеска, и по ней всегда тянулись тонкие следы — детские босые ступни, собачьи лапы, узкие отпечатки отцовских сапог.

Отец, Юзеф, уходя утром, всегда говорил одно и то же:
— No, Werusia, pilnuj mamy. Jesteś moja dzielna dziewczynka — (Ну что, Веруська, смотри за мамой. Ты у меня смелая девочка).

Слово «dzielna» грело сильнее печи.

Мать, Анна, была маленькой и быстрой. Она ничего не делала молча: тесто месила — напевала, бельё полоскала — переговаривалась с соседкой через забор, даже когда ругала детей, в голосе всё равно звучала ласка. Над столом у неё висела Matka Boska Częstochowska — тёмное лицо Богородицы с царапинами, в простой деревянной рамке.

— Смотри, — говорила она дочери, — Matka Boska

zawsze patrzy. Ale nie po to, żeby karać, tylko żeby pamiętać (Матка Божья всегда смотрит. Не чтобы наказывать, а чтобы помнить).

Янек был старше Веры на целых восемь лет. Для неё это звучало как «целая жизнь».

— Braciszku! (Братик!) — кричала она и бежала за ним во двор.

Он подбрасывал её так высоко, что на миг казалось — вот-вот заденет крышу. От него тянуло потом и свежей древесиной: днём он помогал отцу пилить доски.

— Jak będę dorosły, kupię ci prawdziwą książkę po polsku, zobaczysz. Nie tylko modlitewnik — (Когда вырасту, куплю тебе настоящую польскую книгу, увидишь. Не только молитвенник), — обещал он.

Если Янек что-то говорил, это звучало как обещание взрослого мужчины.

По воскресеньям они ходили на мессу в костёл в соседней деревне. Мать надевала на неё лучшее платье, повязывала платочек:

— Werusia, nie biegaj w kościele, Pan Bóg nie lubi hałasu — (Веруська, в костёле не бегай, Господь шум не любит).

Отец снимал шапку у дверей, крестился широко, по-мужски. Внутри пахло воском и холодным камнем. Внутри костёла было полутёмно: свет падал высоко из узких окон, окрашивая стены в синевато-золотые полосы. Под ногами глухо отдавались шаги по каменному полу, с боковых алта-

рей смотрели потемневшие от времени святые, в нишах теплились свечи. Вера слушала, как голос księdza (ксёндза) тянет по-польски длинные слова, мало что понимая, но любя этот особый звук: Świąty, Świąty, Świąty... Когда хор отвечал ему глухим многоголосием, воздух будто становился плотнее, а звуки поднимались под тёмные своды вместе с дымком ладана.

После мессы Янек подхватывал её на руки:

— Zobacz, księżniczki — (Смотри, принцессы), — кивал он на нарядных женщин.

— А я кто?

— Jesteś naszą królową z Grudki — (Ты — наша королева из Грудки).

Так она запомнила себя: маленькой королевой из забытой деревни, а не «ником».

Вечера были самыми важными. Зимой, когда за окном рано темнело и снег скрипел под сапогами, они все собирались у печи. Отец чинил сапоги или упряжь, Янек вырезал ножом из дерева фигурки, мать штопала чулки.

А Вера ждала одного момента.

— Czas spać — (пора спать), — говорила мать.

Они уходили в маленькую комнату, где над кроватью Веры висел бумажный образок с ангелом, который переводит ребёнка через мостик.

— Это твой Anioł Stróż, — объясняла мать. — Ангел хранитель.

Она складывала Верины руки, касалась их своими пальцами и начинала:

Aniele Boży, stróžu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy.

Она путалась в словах, но чувствовала одно: в этой молитве она просит ангела быть рядом и не оставлять её в беде.

Вера сначала сбивалась, проглатывала звуки, а Янек из-за перегородки шептал:

— Weruś, nie «bądź», tylko «bądź»!

— Сам ты «бондь», — шипела она и упрямо начинала заново.

Молитва была как заклинание: если её сказать правильно, никто не посмеет забрать у тебя дом и людей. Потом она поймёт, что молитва — это не защита от будущего, а ниточка, за которую можно держаться, когда всё остальное оборвётся.

Иногда вечером Янек ложился рядом с ней на край кровати, глядя в потолок.

— Nie bój się, Werusia — (Не бойся, Веруська), — говорил он. — Jakby coś się stało, ja cię znajdę. Choćbyś była na końcu świata — (Если что-нибудь случится, я тебя найду. Хоть на краю света).

— А ты как меня узнаешь?

— Po twoich oczach. Masz takie same jak mama — (По глазам. У тебя такие же, как у мамы).

Слова «я тебя найду» тогда звучали как обещание на завтра.

Werusia проснулась от запаха дыма. Сначала ей показалось, что это просто печь: мама всегда вставала раньше всех, чтобы разжечь огонь, подогреть воду, испечь хлеб. Но дым был какой-то неправильный — едкий, злой, он лез в горло и в глаза, и в нём не было того тёплого хлебного запаха, к которому девочка привыкла с рождения.

— Мамо... — хрипло позвала она, но голоса почти не было.

Горло болело уже третий день. Ночью в деревне лаяли собаки, кто-то кричал, хлопали двери, но Werusia лежала, как пригвождённая к постели жаром. Она помнила, как мать, Анна, прикладывала ко лбу холодное полотенце, меняя его почти каждый час, и шептала по-польски:

— Cichutko, moje dziecko, przejdzie, przejdzie... — (Тихо, моё дитя, пройдёт, пройдёт...)

У мамы всегда был особый запах — мука, тёплое молоко и что-то травяное от сушёных на печи лечебных пучков. Когда мама наклонялась над ней, мир становился ближе и мягче, а страх — дальше. Сейчас рядом никого не было.

В доме стояла странная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием досок и далёкими, глухими голосами с улицы. Werusia с трудом приподнялась. Голова закружилась, перед глазами поплыли тёмные круги.

— Janek?.. — позвала она, уже зная, что брат не ответит.

Янек всегда был где-то поблизости: в доме, во дворе с деревянным мечом, с соседскими мальчишками Франеком и Стахом. Он хвастался, что скоро поедет с отцом, Юзефом, на ярмарку в город, где, говорили, много польских книг и даже граммофон.

— Jak będę dorosły, kupię ci prawdziwą książkę po polsku...
— обещал он.

За окном было то время, которое взрослые между собой называли «неразберихой». Их края одни называли Восточной Польшей, другие — Западной Белоруссией; языки, вера и страх давно смешались. На ярмарке можно было услышать польский, русский, белорусский, иногда немецкий. Священник в костёле говорил проповедь по-польски, а в волостном правлении предпочитали, чтобы просители говорили по-русски или хотя бы «по-тутейшему».

Отец иногда возвращался оттуда сердитый, молчаливый.

— Niech to diabli... Wojna się skończyła, a ludzie dalej giną... — бормотал он.

По-польски это значило примерно одно: война кончилась, а люди всё равно гибнут.

Он не любил рассказывать о фронте. Только сосед Мачек вечерами вытягивал из него несколько фраз. Мужчины садились за стол, Анна ставила кувшин с квасом, хлеб, картошку. Дети, притихнув слушали. Werusia любила смотреть, как отец разламывает хлеб — всегда сначала матери, потом детям, себе оставляя корку.

— Pan Bóg widzi — (Бог видит, кто сколько взял), — говорил он.

Иногда ночью отец вскрикивал, хватался за грудь. Анна успокаивала шёпотом. Утром он делал вид, что ничего не было, но Werusia видела, как дрожат его пальцы.

За пару недель до этого утра в деревню пришли люди на лошадях — в разной, сбившейся с фронтов одежде, с винтовками; у некоторых на рукавах красные повязки, но ни к какому настоящему войску они не принадлежали — пьяные, с чужими знаками, больше похожие на банду, чем на солдат.

— Szukają winnych — (ищут виноватых), — шептал двоюродный брат Анны, Станислав. — Kto ma ziemię, kto za bardzo polski... — (У кого земля, кто слишком польский).

— Юзеф, тебе лучше не высовываться, — говорила Анна мужу вечером. — Ты служил. Ты грамотный. На тебя легко показать пальцем.

— Kto ma czyste sumienie, nie musi uciekać — (у кого совесть чиста, тому нечего бежать), — упрямо отвечал он.

После этого из сундука исчезли старые бумаги, фотографии, медальон с крестиком. Werusia видела, как отец что-то заворачивает в тряпицу и прячет под половицу.

— Co to? — (что это?) — шепнула.

— Nic dla dzieci — (не для детей), — мягко ответил он.

Слухи росли, как снеговые сугробы. Говорили о тифе в соседнем селе, о сожжённом хуторе, о бывших солдатах в лесу. Ночью далеко слышалась пальба. Собака под лавкой

начинала скулить ещё до того, как выстрелы докатывались до ушей.

Накануне к ним приходил ksiądz — освятить новый образ Матки Божей, который Анна выменяла у вдовы. Дом в тот вечер был почти счастливым: свечи, молитва, отцовская шутка:

— Panie Boże, tylko nie wojny więcej, dobrze? — (Господи, только не надо войны больше, ладно?)

Ночью после этого в дверь сильно постучали.

— Otwórz! (Открой!) — крикнули по-польски, но голос был чужой, жёсткий.

— Schowaj dzieci (спрячь детей)

Янек увёл Верусю в кладовку за печкой, где пахло уксусом и сушёными грибами.

Из кухни доносились голоса: ровный, натянутый — отца; чужой, ломающий воздух — по-русски:

— Богатый, грамотный, свою землю держит...

— Мы такие же, как все, — пыталась говорить Анна. — U nas dzieci... (у нас дети)

Глухой удар по столу, звон посуды.

— Панам земля не будет, — чужой голос. — Земля будет тем, кто за правду. Открывай сундук. Где деньги? Где золото?

Веруся слышала, как отец попытался что-то сказать, но его голос утонул в грохоте опрокинутого стула и тяжёлых шагов, шарящих по дому. Уже тогда, в темноте кладовки, она

поняла: в этот дом пришли не люди от власти и не солдаты, а пьяная банда, которой было всё равно, какие слова кричать. Они пришли за их вещами, за сундуком, за тем малым, что было спрятано по углам — и ради этого не пожалели живых.

Веруся прижалась к брату.

— Янечек, я боюсь...

— Cicho, mała. Я здесь, — шептал он.

Вспышка, глухой удар, запах пороха. Мамино «Jezu, Maryjo!», чьё-то «Nie strzelaj!». Эти слова — «Иисус, Мария» и «Не стреляй» — потом ещё долго будут звенеть у неё в ушах. За стеной, уже дальше, чем кухня, тяжело заскрипели двери сарая, кто-то выругался, корова протяжно замычала, будто её толкнули, потом послышался рваный топот копыт по двору. Металлический лязг — цепь сорвали с крюка, и чьё-то довольное: «Гони, гони, не жалеј».

Веруся не видела, но по этим звукам запомнила навсегда: вместе с голосами, выстрелами и маминым криком из их дома уводили не только людей и сундук, но и скот — всё, чем жила их маленькая ферма.

Потом — тишина, тяжёлая, как снег на крыше.

Ночью сознание то проваливалось, то всплывало. Казалось, по дому ходят тяжёлые сапоги, звенит стекло, хлопает дверь.

Утром её окончательно разбудил не крик, а дым.

В сенях валялась перевернутая лавка, разбитый кувшин, по доскам растекалась тёмная лужа. На кухне на полу лежала

мама. Лицо — странно спокойное, рука тянется к двери.
— Мамо...

Кожа была холодной, как вода в корыте.

Во дворе — пусто. Ворота настежь. Хлев подгоревший. В снегу — смятая отцовская шапка.

Сосед Мачек стоял у забора бледный, босой.

— Boże święty... Werusi, idź do domu! — (иди в дом!)

— Где tata?

— Его... забрали, — выдавил он.

Позже, уже не в этот день, она узнает от взрослых, как всё было: отца вывели первым и застрелили прямо во дворе, у крыльца, когда он попытался закрыть собой Анну. Для пришедших он был удобной мишенью — польский хозяин, солдат. Анну ударом отбросило назад в дом — там, у стола, среди рассыпанной посуды, она и осталась лежать. Мать стала следующей.

К вечеру в доме были Станислав с женой Марией.

— Дети не могут здесь оставаться, — твёрдо сказала Мария. — Их заберут... не те.

— Я заберу Янека, — сказал Мачек. — В Подлески. Там кузен Пётр с Хеленой. Они его спрячут. А девочка...

— Её сейчас не довезёшь, — хрипло сказал Станислав. — Она горит, может тиф. Везти через лес — убить.

Решение приняли ночью. В район пришло известие: сирот и детей убитых везут «на восток, в Сибирь», в детские дома. Там «будет тепло и сыто».

— Лучше так, чем в яму, — сказал Станислав.

Янек сидел в углу, сжав кулаки. Перед глазами — падающий отец, рука матери, лихорадочная Веруся.

Ночью он сел у её кровати.

— Nie zostawiaj mnie... — шептала она в бреду.

— Я не могу тебя взять, mała, — шептал он ей в ухо. — Но я тебя найду. Ja cię znajdę. Choćbyś była w Syberii.

Утром в дверях стояли двое в шинелях с красными повязками — уже другие, не те, ночные, а официальные, из волостного, с бумажками.

— Сирота? Документы есть? Государство позаботится.

Верусю одели в мамин платок, чужие валенки. Станислав сунул икону:

— Храни, dziecko. Это от твоей matki.

— A Janek?

— Janek уехал к родственникам, — сказала Мария. — Он готовит для тебя место. Он тебя найдёт, Werusiu. Обязательно.

На сборном пункте детей грузили в вагоны.

— Всех по списку!

Её поставили в конец списка, пересчитали вместе с чемоданами и мешками. В тот день Вера впервые ясно почувствовала, что для взрослых она не «Werusia z Grudki», а просто ещё один ребёнок, которого можно отвезти туда, куда решат.

Веруся, зажав икону, искала глазами Янека. Серое утро, дым, люди — но его не было.

Где-то там, на другом конце лесной дороги, под крышей чужого дома, он действительно сидел над клочком бумаги и выводил неровно:

«Werusiu, poszedłem z sąsiadami do Podlesek, do krewnych.
Jedź tam, gdzie każą, a ja cię znajdę.

Przysięgam.

Twój Janek.»

«Веруська, я ушёл с соседями в Подлески, к родственникам.

Едь туда, куда тебе скажут, а я тебя найду.

Я клянусь.

Твой Янек.»

Поезд дёрнулся. Деревня поплыла назад. Дом с печью, двор, снежная горка, на которой она каталась с Янеком, — всё превращалось в пятно.

Она прижала к груди икону и шепнула:

— Aniele Boży... Janek, найди меня...

Снаружи стучали колёса. Мир превратился в долгий путь, с которого уже нельзя было свернуть.

Глава 2.

Туда, где кончается прошлое

Поезд задержался на промежуточной станции надолго — снег занёс путь, и теплушки, полные детей, стояли часами без движения. Маленькое окошко в вагоне, затянутое инеем, казалось мутным глазом: изнутри по нему оставались только размытые следы детских пальцев, снаружи виднелась сплошная белая стена и редкие тёмные столбы.

Иногда ветер налетал так, что вагон чуть дрожал, будто его толкали невидимые руки. Гул паровоза глох, и наступала вязкая тишина — только сопенье, кашель и редкий всхлип. Вагон пах мокрой одеждой, угольным дымом и детским страхом — острым, как уксус, от которого першит в горле.

Веруся сидела на нижней полке, прижав к себе узелок, в который Мария успела сунуть кусок хлеба, носовой платок и икону. Пальцы давно онемели, но она всё равно не отпускала узелок, как будто именно он крепил её к земле. Губы девочки пересохли, рука горела от лихорадки, но взгляд оставался ясным, упрямым.

— Эй, ты откуда? — спросил её мальчишка напротив, в старой гимнастёрке без погон. Лицо у него было серым от копоты и усталости, нос шелушился от мороза. — Из-под какого города?

— Z Gurdki... — машинально ответила она по-польски, и голос сорвался в шёпот.

Мальчик пожал плечами, не поняв ни одного слова.

— Ничего, разберёмся, — буркнул он, уже отходя. — Всё равно всех в одно место везут.

Поезд дёрнулся и снова пополз вперёд — медленно, как будто проталкивался сквозь снег грудью. Колёса глухо стучали, иногда скрипели, словно жалуясь. В щели между досками пола тянуло холодом, сквозняк бродил по вагону, находя любые дыры. Те, у кого были шапки, делились ими по очереди; те, у кого не было, прятали нос в рукав.

Ночью вагон превращался в сплошное дыхание: кто-то стонал во сне, кто-то шептал молитвы — по-русски, по-украински, по-белорусски, по-польски. Иногда один язык цеплялся за другой, и получался странный, общий, как будто весь этот люд и правда везли в одно неведомое место, стирая разницу между «своими» и «чужими». Доски полка впились в бок, хранили чужое тепло и пот; от сырой стены тянуло так, что плечо немело. Когда дети поворачивались, их рукава цеплялись друг за друга и за соседние плечи — вагон был слишком мал для всех этих тел.

Веруся старалась не плакать. Каждый раз, когда слёзы подступали к глазам, она вспоминала отца: «Dzielną dziewczynką» — смелая девочка. Смелые не плачут при всех. Плакать можно будет потом, когда никого не будет.

В один из остановочных дней, когда поезд опять встал

«надолго», к открытому окошку теплушки подошла женщина из соседнего вагона — высокая, в старом сером пальто, с платком, завязанным так, что было видно только усталые глаза. На щеках у неё иней смешивался с потом.

— Ты — из Грудки? — спросила она по-польски, глядя прямо на Верусю.

Девочка дёрнулась, не веря, что среди этого русского гула снова звучит родной язык.

— Так... — выдохнула она. — Да.

— Тогда это тебе.

Женщина достала из складок платка сложенный вчетверо кусочек грязной бумаги. Бумага была влажной, с потёками; на углу — пятно, будто от грязи или слезы. Почерк — неровный, тяжёлый, но до боли знакомый: «Werusię, poszedłem z sąsiadami...».

Это была его рука. Янек.

У девочки всё внутри перевернулось. Мир, только что разорвавшийся пополам — «там», где остались дом и убитые родители, и «здесь», где пахло дымом и потом, — вдруг снова сложился хотя бы в тонкую ниточку.

— Он передал через моего мужа, — объяснила женщина. — Мой муж помогал грузить детей на станции. Он сказал: «Если увидишь девочку с каре-зелеными глазами, в старом платке, по-нашему говорящую — передай». Я долго искала. Dobrze, że cię znalazłam — хорошо, что нашла тебя.

Веруся взяла листок обеими руками, как будто боялась,

что тот исчезнет, если она моргнёт. Буквы плясали перед глазами, но смысл вонзался прямо в сердце:

«... jedź, gdzie ci każą, a ja cię znajdę. Przysięgam. Twój Janek».

Она понимала главное: «Я тебя найду. Клятвенно». Восьмилетнее сердце ухватило за эти слова, как утопающий — за тонкую веточку, торчащую из ледяной воды.

— Dziękuję... — прошептала она. — Спасибо.

Женщина кивнула и исчезла так же быстро, как появилась, растворившись в серой толпе вагонов и людей.

С тех пор Веруся почти не расставалась с запиской. Первые дни она просто держала её в руке, зажав между пальцами так крепко, что ногти впивались в бумагу. Иногда ей казалось, что если разжать пальцы, поезд сразу уйдёт не туда, и Янек никогда уже не найдёт её по этой невидимой ниточке.

Когда один из надзирателей приказал:

— Все бумажки, игрушки и прочий мусор — сюда! — и прошёл по вагону, заглядывая в узелки, у нее внутри будто все оборвалось.

За секунду до того, как он приблизился, девочка сунула записку за подкладку своей серой куртки, в ту щель, где торчала нитка. Куртка была ещё «поездная» — выдали прямо на станции одинаковые серые, с грубыми швами, пахнущие складом и нафталином.

— Что жмёшь? — прищурился надзиратель.

— Ничего... — прошептала она, упрямо глядя в пол.

— Смотри у меня, — буркнул он и пошёл дальше.

Так записка впервые стала тайной не только от чужих глаз, но и от чужих рук.

Дорога тянулась днями, которые перестали отличаться друг от друга.

Иногда поезд надолго останавливался в чистом поле: ни станции, ни домов — только белизна до горизонта и редкий, как палка, телеграфный столб. Дежурный по составу, кутаясь в ватник, проходил мимо, не глядя в глаза детям.

Иногда, наоборот, они протягивали руки к щелям в стенах, когда мимо промелькивала деревня: тёмные избёнки, редкие фигуры взрослых, которые поворачивались к грохоту паровоза. Одна женщина, увидев детские лица в маленьком окошке, сорвала с головы платок и помахала им — быстро, отчаянно. Кто-то в вагоне всхлипнул.

Ночами вагон был похож на рассадник огоньков: кто-то припрятал обломок свечи, кто-то нашёл кусочек лучины. Тусклые огоньки вспыхивали и гасли, и в их неровном свете дети были похожи на взрослых — с заострившимися скулами, потемневшими глазами.

Горло всё ещё саднило, голова была тяжёлой, как чугунный котёл, но тот злой жар, от которого мутнел взгляд, оставался где-то позади, в Грудке. Здесь было просто холодно и темно.

— Ты думаешь, нас далеко повезут? — шёпотом спросила Лида, девочка из Слуцка, с которой Веруся познакомилась

здесь, в дороге.

— Daleko — далеко, — ответила она. — Там, где снег ещё больше.

Она сама не знала, откуда взялись эти слова. Просто так говорили взрослые: «везут далеко, в Сибирь». Для неё Сибирь была пока только словом, в котором хрустел лёд.

Иногда по ночам Веруся просыпалась от собственного шёпота: губы сами тянули строки молитвы:

— Aniele Boży, stróżu mój...

Она шептала их в воротник куртки, чтобы никто не услышал. В этом гуле чужих слов её молитва была единственным, что связывало с прежней жизнью так же, как и записка Янека.

Наконец, однажды утром стук колёс стал реже, поезд замедлил ход и, словно вздохнув, остановился «по-настоящему». Дети сначала не поверили — думали, что это ещё одна короткая остановка. Но крики снаружи были другие: более резкие, командные.

— Выходим! Быстро, по одному! Не толпимся!

Дверь теплушки распахнулась. Сибирь не была открыткой — она встала перед ними стеной света и холода. Воздух ударил в лицо сухо и резко, как ладонь: от первого вдоха защищало глаза, в груди что-то хрупнуло, будто лёгкие стали стеклянными.

Снег под ногами оказался не мягким, а твёрдым, как битое стекло, утрамбованным до камня. Он скрипел так гром-

ко, что на миг заглушал крики конвоиров. Белизна вокруг была почти слепящей — не та мягкая белизна Грудки, где среди сугробов торчали чёрные кусты и заборы; здесь казалось, что землю накрыли ровной простынёй, натянутой до самого горизонта.

Чуть поодаль от станции торчало серое здание детдома — невысокое, но тяжёлое, как коробка, забытая на морозе. Краска на стенах облезла пятнами, окна смотрели мутно, в некоторых вместо стекла тускло желтела фанера. Из кирпичной трубы тянулся тонкий столб дыма, но даже этот дым казался холодным — он не грел, а только рисовал в небе серую, дрожащую линию.

За зданием начиналась тайга — не сказочный лес, а тёмная полоса, подрезанная по краю, словно кто-то провёл по горизонту тупым ножом. Чёрные деревья стояли плотно, как солдаты на построении, на ветках тяжело лежал снег; оттуда тянуло смолой и сыростью. Над всем этим висело низкое, бледное небо — выцветшее, как старая простыня, с тонкой синевой в прорехах.

Дети прыгивали вниз один за другим, оставляя на утрамбованном снегу цепочку неровных следов. Их тонкие подошвы не чувствовали разницы между землёй и льдом — было просто очень твёрдо и очень холодно. Веруся на миг зажмурилась от света: после тёмного вагона Сибирь показалась ей слишком яркой и слишком пустой. Нигде не было её дома, её горки, её печной трубы — только эта белая равнина, чу-

жое серое здание и тёмная, молчащая линия леса, в которую, казалось, можно уйти и больше никогда не вернуться.

Веруся прыгнула на землю, едва не падая: ноги после долгого сидения не слушались.

— Проходим! Не стоим! — кричала женщина в ватнике, с красной повязкой на рукаве. — Сначала маленькие! По одному!

Дети тянулись цепочкой от вагона к зданию, оставляя на снегу тонкие следы — почти одинаковые, как будто у всех были одни и те же ноги, один и тот же размер детства.

Внутри пахло дегтем, щами и сыростью. В длинном коридоре их выстроили вдоль стен. Кто-то плакал, кто-то молча кусал губы.

— Фамилия, имя? — устало спрашивала женщина с толстым журналом, сидя за столом при входе.

Многие не знали, как правильно произнести свои фамилии по-русски, путались, плакали. Кто-то вообще не помнил.

— Как звали отца?

— Nie wiem... — «не знаю», — шептал мальчик с обветренными губами.

— Значит, запишем, как получится, — отрезала она.

Когда очередь дошла до Веруси, та замаялась. В голове жило: Werusia, córka Józefa i Anny. Здесь же от неё ждали совсем других слов.

— Werusia... — прошептала она.

— Нормально говори, — вздохнула женщина. — Имя?

— Вера, — подсказала другая, постарше, сидевшая рядом за столом. — Пиши: Вера.

Слово упало на бумагу тяжело, как крышка.

— Фамилия?

Веруся попыталась выговорить польскую фамилию, но женщина записывала по-своему, каждое чужое «sz» и «cz» превращая в странные буквы.

— Отец?

— Józef...

— Как?

— Юзеф, — выговорила она по-русски, как слышала от других.

— Пиши Павловна, — отмахнулась женщина. — Всё равно никого нет, кто проверит.

Рука женщины двигалась быстро и устало, не поднимая глаз — будто имена были не людьми, а цифрами на бумаге.

Так Веруся впервые стала Вера Павловна — по ошибке, по усталости чужой руки. Она хотела поправить, сказать «иначе», но губы словно налились льдом; язык не послушался. Её настоящие родители с их именами продолжали жить в ней, но мир отныне видел перед собой «Веру Павловну из детдома» — девочку без конкретного прошлого, без деревни, без дома.

Дальше началась жизнь, в которой дорога до детдома казалась только первой, самой длинной и самой холодной ступенькой. Но вечером, когда новая воспитательница велела:

— Спать! Всем по кроватям! —

Вера — ещё совсем недавно Werusia — долго не могла сомкнуть глаз. Она быстро поняла главное правило: проще всего жить тем, кто ничего не просит и ни о чём не спрашивает. Таких называют «удобными» — и чаще всего про них забывают. Под щекой шуршала грубая наволочка, под ребром неприятно давал о себе знать тугой узелок: там, в крошечном мешочке под рубахой, лежала сложенная вчетверо бумажка.

Она достала её украдкой, на секунду, нащупав пальцами знакомые складки, и снова спрятала. Где-то далеко от этого холодного здания, за лесами и границами, жил или не жил Янек — она не знала. Но пока в темноте можно было шепнуть:

— Ja cię znajdę. Przysięgam —

и услышать в ответ его голос — даже только внутри собственной головы, — дорога ещё не казалась окончательной.

Глава 3.

Там, где есть своя кружка

В тот год зима выдалась особенно долгой. Снег в Сибири не таял так, как в Грудке: он не превращался в тяжёлую кашу под ногами, не смешивался с запахом мокрой земли. Здесь он лежал месяцами — сухой, скрипучий, словно сам воздух стал твёрдым и холодным.

Веруся не знала точно, сколько ей лет. В детдоме говорили: «Десять или одиннадцать, это не так важно, будешь считать, что одиннадцать». Для неё возраст измерялся не цифрами, а событиями: «до того, как забрали» и «после поезда».

Тем утром её вызвали в кабинет директора.

— Вера Павловна, — позвал его хриплый голос из дверей спальни. — Ко мне. Живо.

Она испугалась: обычно вызывали тех, кто дрался, украл, не вышел на построение. Но вчера она только помыла полы и успела выучить наизусть отрывок, который задала учительница. Пальцы сами собой сжались на груди — там, под полотняной рубашкой, в маленьком мешочке на шнурке, лежала сложенная записка Янека.

Кабинет был душным, с запахом махорки и дешёвых чернил. На подоконнике теснились неухоженные фиалки в жестяных банках из-под тушёнки, листья их были припороше-

ны пылью, как и стекло витрины с «похвальными грамотами» учреждения. Письменный стол директора был завален папками с серыми корешками; на одной лежала раскрытая тетрадь с крупными, неровными цифрами — чья-то судьба была сведена к графе «выбыл». На стене висел портрет вождя, под ним — календарь с красными числами. За столом сидел директор, рядом — незнакомая женщина в тёмном платье и мужчина в коричневом пиджаке.

— Заходи, не на казнь, — буркнул директор, видя, как она мнётся у дверей. — Закрой дверь.

Веруся осторожно прикрыла дверь и вжалась спиной в стену.

— Это и есть Вера? — женщина оглядела девочку внимательно, но не зло. — Худенькая. Глаза большие.

— Она из тех, что поумнее, — пояснил директор. — Учится хорошо, не дерётся, не ворует. Родных нет. Удобно.

Слово «удобно» резануло слух. Но в голосе женщины не было холодной оценки, только усталость.

— Как тебя звали до... сюда? — мягко спросила она.

— Werusia... — сорвалось по-старому. Потом она спохватилась: — Вера.

— У нас будут звать тебя Вера, — кивнула женщина. — Я — Наталья Ивановна. Это мой муж, Георгий Семёнович.

Наталья была не из тех женщин, которых запоминают с первого взгляда. Невысокая, чуть полноватая, в простом тёмном платье и выцветшем шерстяном жакете, она казалась

такой же «обычной», как тысячи учительниц, которых Вера видела в школе. Но у неё были аккуратные, натруженные руки с коротко остриженными ногтями и лицо, которое словно привыкло больше слушать, чем говорить: мягкие складки у губ, лёгкие тени под глазами от недосыпа, внимательный взгляд серых глаз из-под чуть сбившейся набок причёски. Когда она говорила, не делала резких движений, только иногда поправляла на запястье тонкий, затёртый ремешок часов — как человек, который привык жить по расписанию и держать дом, работу и детей в каких-то известных только ей самой рамках. В её голосе не было ни начальственного холода, ни приторной жалости — лишь усталая, но упрямая решимость человека, который однажды сказал себе: «вот этих я возьму на себя» — и взял.

Мужчина кивнул коротко, глядя не на девочку, а как будто сквозь неё. Лицо усталое, резкие складки у рта, но в глазах — не злость, а сосредоточенность человека, который привык сначала смотреть, потом говорить.

— Мы пришли... посмотреть, кого можно взять, — сказала Наталья. — У нас уже двое мальчиков. Но я... — она замялась, подбирая слова, — я давно думала о том, чтобы взять девочку.

Сердце Веруси ухнуло куда-то вниз. «Взять» — как хлеб, как ведро, как табуретку. Но в глазах Натальи не было жадности. Скорее — осторожное желание, как у человека, который боится примерить на себя слишком красивую вещь.

— Какой класс? — спросил Георгий сухо.

— Третий, — ответил за неё директор. — Читает хорошо, пишет без грубых ошибок. Бывает упряма, но в рамках.

Наталья поднялась из-за стола.

— Можно с ней... немного поговорить наедине? — спросила она. — В коридоре хотя бы.

Директор фыркнул:

— Говорите, только далеко не отходите.

Они вышли в коридор. Сквозь щели в рамках тянуло холодом, половицы поскрипывали. Где-то за стеной кто-то читал вслух по слогам: «со-лу-дат».

Наталья присела на край скамейки и жестом позвала Верусю сесть рядом.

— Ты знаешь, что такое приёмная семья? — тихо спросила она.

Веруся пожала плечами.

— Это... как настоящая, только... по бумаге?

Наталья слабо улыбнулась.

— Почти. У нас с мужем есть дом. Небольшой, но свой. Двое сыновей — Петя и Саша. Они шумные, но добрые. Мама моя с нами живёт, уже старенькая. Я работаю в школе. Муж — на заводе. — Она говорила просто, без украшений. — У тебя здесь... тяжело?

Слово «тяжело» показалось таким маленьким по сравнению с тем, что было внутри.

— Здесь... не дом, — выдохнула Веруся. — Тут кровати.

Наталья посмотрела на неё долго. Взгляд был не жалостливый — внимательный.

— Я не обещаю, что у нас будет легко, — честно сказала она. — У нас свои правила. Свой уклад. Но у тебя будет своя кровать. Своя кружка. Твоё полотенце. Свой угол. Ты сможешь учиться нормально. И... — она чуть замялась, — и никто не будет говорить, что ты... «удобная».

Откуда-то из глубины коридора донёсся визг — кто-то упал. По полу протопали тяжёлые сапоги. Мир детдома с его сыростью и криками прижался к одной стороне груди. По другую сторону, осторожно, обрисовывался другой мир — неясный, но не такой серый.

— А я... смогу... здесь кого-нибудь навещать? — вдруг спросила Веруся.

Наталья покачала головой.

— Обычно нет. Кто уходит в семью, тот живёт в семье. Но... — она на мгновение задумалась, — если у тебя есть кто-то, о ком ты очень переживаешь, — можешь рассказать мне. Я не всё смогу, но постараюсь.

Веруся молчала. Сказать: «У меня есть брат в Польше, он обещал меня найти» — казалось почти кощунством. Как будто, произнеся вслух, она выдаст его чужим людям.

— Я подумаю, — тихо сказала она.

— Хорошо, — кивнула Наталья. — Но думать у тебя времени мало. Решать будут взрослые.

Раньше так всегда и было: взрослые решали, куда её везти,

где ей спать, что говорить. Но сейчас внутри что-то упрямо шевельнулось: ей хотелось хотя бы подумать самой, хочет ли она в этот дом.

Через два дня директор вызвал её снова. На столе уже лежали бумаги.

— Вот что, Вера, — проговорил он, поправляя очки. — Государство решило, что тебя заберут в семью. Это хорошо. Меньше ртов у нас, у тебя — шанс. Радоваться надо.

Слово «надо» повисло в воздухе. От него стало зябко.

Наталья с Георгием сидели рядом. У Георгия были руки с мозолями и лицо человека, который много лет вставал затемно и ложился после смены. Он смотрел сурово, но не зло.

— Распишись тут, — директор ткнул пальцем в строку. — Ну... криво, но всё равно.

Веруся вывела по-детски: «Вера». Рука дрожала. Это была уже не та рука, что когда-то выводила букву «W» на газетном краю под присмотром отца. Это была рука сироты, наученная писать на чужом языке.

— С этого дня ты — наша, — сказал Георгий. В голосе было больше факта, чем тепла, но и не было отторжения. — Фамилия у тебя теперь будет как у нас. Не выговоришь — выучишь.

Новая фамилия прозвучала чужеродно. Но она проглотила её, как горькую, но нужную таблетку.

Собираться было почти не из чего. Вещи детдомовского

ребёнка помещались в один узелок: рубашка, чулки, стоптанные ботинки, расчёска с поломанными зубцами. Самое главное — видно не было.

Ночью, перед отъездом, Веруся снова открыла свой потайной мешочек. Записка хранила тепло её тела и запах дешёвого мыла. Бумага стала мягче, чем в тот день на станции, но всё ещё держала форму.

Она раскрыла её, провела пальцем по словам:

«...do Podlesiek, do krewnych. Ty jedź, gdzie ci każą, a ja cię znajdę...»

— Я еду, куда мне сказали, — прошептала она. — Spóźniłeś się trochę, Janek... Ты опоздал.

Злости не было. Только тихая упрямая уверенность: если она будет держаться за эти несколько строк — всё ещё возможно.

Она не знала, как отнесутся новые люди к чужому письму. Значит, записка должна стать частью её самой. Утром, пока другие девочки ещё одевались, она сняла рубаху, аккуратно распорол внутренний шов ниже груди. Вложила туда бумагу, разровняла, приложила к коже, чтобы теплом прижались. Потом грубо, но крепко зашила иглой.

— Что ты там шьёшь? — Лида у умывальника прищурилась.

— Дырку, — коротко ответила Веруся. — Чтобы не дуло.

Раньше ей казалось, что эти несколько строк сами по се-

бе спасут её, как молитва в детстве. Теперь она понимала: спасти придётся себя самой, а бумажка нужна, чтобы не забыть, ради чего держаться.

Когда они вышли во двор, грузовая повозка уже ждала. На козлах сидел возчик, кутаясь в тулуп. Рядом — Наталья с корзиной, из которой пахло чем-то домашним: кислой капустой, хлебом, луком. Этот запах вдруг болезненно напомнил Грудку, мать, отца. Веруся прижала зубы к губе, чтобы не расплакаться.

— Вот она, — сказал директор. — Берите. Не забывайте её... — он хмыкнул, подбирая слово, — происхождение. Девочка не из самых первых, но ничего, воспитается.

Наталья посмотрела на него так холодно, что даже Веруся почувствовала этот взгляд.

— Происхождение у неё — человеческое, — сухо отрезала женщина. — Остальное — наша забота.

Директор усмехнулся, но промолчал.

Георгий всё время стоял рядом, чуть в стороне. Теперь он перевёл взгляд с директора на девочку — короткий, спокойный, как будто что-то для себя окончательно решая.

— Про человека и говорить тут нечего, — негромко добавил он, глядя уже на директора. — Взяли — значит, будем о ней думать.

Он взял её узелок — лёгкий, почти пустой, — но держал так, словно там было что-то важное.

— Садись сюда, ближе к середине, — сказал он, показы-

вая на место на повозке между собой и бортом. — С краю холоднее.

Сказано было ровно, без нежности, но Веруся вдруг почувствовала: её не перетаскивают как мешок, её пересаживают как кого-то, за кого отвечают.

По дороге он молчал, иногда поправляя воротник тулупа или подтягивая вожжи. Лишь однажды, когда повозка подпрыгнула на кочке и девочка едва не ударилась о борт, он чуть придержал её за локоть — крепко, но аккуратно.

— Ничего, — бросил он, не глядя. — Дальше будет ровнее.

Дорога до города заняла несколько часов. Сначала вокруг были серые бараки, заснеженные склады, редкие люди в ватниках. Потом — кирпичные дома, деревянные избы, дым из труб, редкие собаки. Конь фыркал, из ноздрей валил пар.

— Ты не бойся, — вдруг сказал Георгий, повернувшись к ней через плечо. — У нас не барство, но дом честный. Не хуже этого вашего «учреждения».

Слово «учреждение» прозвучало как ругательство, но без злобы — скорее, как усталость от всего чиновничьего. Веруся слабо кивнула.

Дом Натальи и Георгия оказался одним из тех, что вырастают там, где люди успевают немного закрепиться. Деревянный, с грубыми, но резными наличниками. Во дворе — сарай, дрова штабелями, верёвка для белья, заиндевшая на морозе. На крыльце стояла старушка в тёмном платке —

мать Натальи.

— Привели? — спросила она, прищурившись. — Ну, с Богом.

Веруся замялась у первой ступеньки. Ноги вдруг стали тяжёлыми, как будто к валенкам привязали камни.

Георгий заметил её заминку, снял варежку и протянул ей ладонь — не сверху вниз, как взрослый маленькому ребёнку, а открыто, почти наравне.

— Пошли, Вера, — тихо сказал он. — Дом — это не страшно. Страшно, когда его нет.

Его ладонь была шершавой и тёплой. Она ухватилась и сделала первый шаг.

В детдоме её тянули, толкали, ставили в строй. Здесь она сама сделала шаг — маленький, но по собственной воле. Внутри было тепло. Пахло щами, сухими травами и чем-то ещё — может, мылом. В печи потрескивали поленья. У окна стоял стол с клеёнкой в мелкий цветочек, на подоконнике — ряд банок с засолками и три книжки, аккуратно уложенные стопкой, поверх которых лежала раскрытая тетрадь с учительскими пометками красным карандашом. На стене висели детские рисунки — кривые домики, танки, солнце с лицом. По комнате носились двое мальчишек, светловолосые, с одинаковыми ямочками на щеках.

— Стойте, как кони! — окликнула их Наталья. — Это Вера. Она теперь будет жить с нами.

Мальчики одновременно остановились и уставились на

девочку.

— Это та самая? — прошептал младший, Саша. — Из детдома?

— Из детдома не заразно, — отрезала бабушка. — Заразно — глупость.

На старушке был тот самый тёмный платок, какой, казалось, носили все сибирские бабушки, но завязан он был крепко и ровно. Морщины у глаз шли веером — словно она раньше много смеялась, хотя теперь лицо было серьёзным.

Петя, старший, сделал шаг вперёд.

— Я — Петя, — представился он, сунув руки в карманы. — Это Сашка. У нас ещё друг есть, Серёга. Только он сейчас не здесь, он на смене отца помогает. Потом познакомитесь.

Слово «друг» зацепило слух. Кто-то третий, пока невидимый, уже присутствовал в этой комнате — будущий человек её судьбы, хотя она и не могла этого представить.

— Раздевайся, — Наталья сняла с девочки шапку, платок, помогла стянуть тяжёлую куртку. — Вон там — умывальник. Потом садись за стол.

Георгий тем временем поставил её узелок в угол, аккуратно, как будто боялся уронить стекло. Он ничего не сказал, но сам факт, что её почти пустой свёрток был поставлен «на место», а не брошен где-нибудь под лавкой, почему-то согрел сильнее печки.

За столом сидели тесно, но всем хватило места. На столе — чугунок со щами, миска с кашей, нарезанный хлеб. Ба-

бушка, перекрестившись едва заметно, подала каждому по куску.

— У нас порядок такой, — сказала Наталья, когда начали есть. — Молчуны не в почёте, но и пустой болтовни не люблю. Вера, ты будешь ходить в школу, помогать по дому, слушаться старших. За это — крыша, еда, одежда. Мы... — она слегка запнулась, — мы не заменим тебе тех, кто был. И не будем делать вид, что их не было. Но если захочешь — можешь называть нас мамой и папой. Не захочешь — не заставим.

Веруся кивнула. Слово «мама» резало по живому. Ей казалось, что оно принадлежит одной единственной женщине в мире — Анне, пахнувшей хлебом. Но что-то внутри уже тянулось к этой спокойной, решительной Наталье, которая умела говорить о трудных вещах, не повышая голоса.

Георгий ел молча, но однажды поднял на неё взгляд, когда она осторожно потянулась за хлебом, словно боялась взять лишний кусок.

— Ешь нормально, — спокойно сказал он. — Хлеб на всех есть.

Простая фраза прозвучала почти как разрешение жить.

— А ты издалека? — вдруг спросил Саша, чавкая. — Прямо оттуда, где медведи?

— Саша, — строго сказал Георгий.

— Не совсем, — тихо ответила Веруся. — Я... z Polski. Из Польши.

Мальчики переглянулись.

— Ого, — протянул Петя. — Значит, ты почти иностранка.

Слово «Польша» прозвучало в этой кухне странно, как чужой акцент, но Вера вдруг с тихим упрямством подумала. кем бы её тут ни считали — иностранкой, сиротой, «удобной» — про себя она всё равно останется той девочкой из Грудки, которую Янек обещал найти.

— У нас тут своих иностранцев хватает, — буркнула бабушка, но без злобы.

После обеда Наталья показала ей комнату. На двух кроватях — сыновья. У стены — третья, поменьше, с аккуратно сложенным одеялом.

— Тут будешь спать ты, — сказала она. — Шкаф пока общий. Уголок стола — твой. Вон та кружка — тоже.

Кружка была простая, эмалированная, с синим ободком. Но оттого, что кто-то сказал «твоя», она вдруг стала почти драгоценной. В детдоме у неё не было ничего «своего» — только номер на кровати. Здесь впервые появлялось то, что можно назвать одним словом: «моё». И от этого слова внутри становилось и теплее, и страшнее: своё можно и потерять.

— У нас по вечерам... — Наталья чуть улыбнулась, — по очереди читают вслух. Я приношу книги из школы. Сначала Петя, потом Саша. Если хочешь — тоже будешь читать.

— Я... не очень быстро читаю по-русски, — призналась Веруся.

— Научишься, — уверенно сказала Наталья. — У кого есть голова и желание — тот научится.

Георгий, проходя мимо, кивнул, будто подтверждая: сказано правильно.

В ту ночь, лёжа на своей новой кровати, Веруся долго не могла уснуть. Дом дышал иначе, чем детдом: здесь было слышно, как в печи шевелится уголь, как в соседней комнате кашляет бабушка, как Саша во сне что-то бормочет. Звук был не строевым, а живым.

Рука сама собой легла на грудь, к шву, под которым хранилась записка.

Она закрыла глаза и шепнула совсем тихо, почти беззвучно, по-польски:

— Aniele Boży, stróžu mój... Береги и тех, и этих.

Её мир теперь делился не только на «там» и «здесь», но и на «тех» и «этих» — тех, кого уже нельзя вернуть, и тех, с кем ей предстояло жить.

Внизу тихо скрипнула дверь — вернулся кто-то, шаги были тяжёлые, но торопливые, подростковые. Голос Пети радостно шепнул:

— Серёга, тише, у нас теперь девчонка в доме, не топай, как лось!

В ответ раздался негромкий, чуть хриплый подростковый смешок — ещё не мужской, но уже не мальчишеский.

Веруся, ещё не зная имени того, кто засмеялся, уже почувствовала: её жизнь снова поворачивает в сторону, о ко-

торой она ни у кого не спрашивала.

Глава 4.

Всё меняется весной

Весна в тот год пришла неожиданно рано. Снег в городе потёк серыми ручьями вдоль улиц, на заборах появились первые мокрые кошки, а у школы, где работала Наталья Ивановна, в лужах отражались облезлые фасады и неровные облака. Вера ходила туда помогать — то тетради разложить, то на продлёнке посидеть с малышами, пока учителя на собрании.

— С твоей головой тебе бы дальше учиться, — говорила Наталья, складывая в портфель классный журнал. — Вон, в педучилище открыли набор. И дошкольное отделение у них есть, воспитателей детсада готовят.

Слово «училище» звучало как приоткрытая дверь в другой мир. По вечерам Вера раскладывала на столе тонкий листок с объявлением о приёме: сроки подачи документов, экзамены, перечень предметов. Строчки казались обращёнными прямо к ней — той самой девочке из Грудки, которую жизнь почему-то до конца не добила. Внутри шепталось: «Если поступлю — значит, меня можно считать не просто сиротой. Я стану кем-то».

— Думаешь, стоит? — робко спросила она Георгия.

Он почесал затылок, отодвинул чашку с остывшим чаем.

— Если Наталья говорит, что голова есть — значит, есть, — буркнул он. — Не на лесоповал же тебе. Попробуй. Не возьмут — будешь работать. Возьмут — ещё лучше.

Документы собирали всем домом. Бабушка вытаскивала из старого сундука потрёпанные конверты, Наталья ходила по инстанциям, выбивая справку о том, что у Веры нет родителей, что она «работящий и дисциплинированный ребёнок». Вера ночами повторяла правила по русскому, решала задачки и украдкой клала ладонь к груди — туда, где под швом рубашки лежала сложенная записка Янека, согретая её теплом.

Серёга смеялся:

— Эй, студентка, не сгоришь от этих книжек?

Он вырос незаметно. Когда-то щуплый мальчишка, который бегал с Петей и Сашкой по двору, превратился в широкоплечего парня с крепкими руками и неожиданно мягким взглядом. Работал на лесопилке, помогал отцу, по вечерам заглядывал к ним то за инструментом, то «просто посидеть».

— Студенткой буду, когда поступлю, — огрызалась Вера, но без злости. — А пока я просто дрожу от страха.

— Чего там дрожать, — Серёга откинулся на спинку стула, закинул руки за голову. — Ты же умнее нас всех втроём. Петя так вообще без тебя задачки не решает.

— Зато тебя с пилой в руках никто не переплюнет, — вставил Саша, и они втроём расхохотались.

Вера улыбнулась, но внутри у неё было не до смеха. Ка-

залось: если не поступит, то будто подтвердит старое, детдомовское «ты сирота, твой потолок — полы мыть».

Перед экзаменами Наталья настояла, чтобы Вера походила в школу в качестве «практики» — посмотреть на уроки «с другой стороны».

— Сядешь на последнюю парту, посмотришь, как дети себя ведут, как учитель объясняет, — говорила она. — Учитель — это не только тетрадки проверять.

Вера сидела в конце класса, с записной книжкой. На доске мелом выводили «подлежащее» и «сказуемое», дети тянули руки, кто-то шептался.

— Вера, а почему вы девушка, а не учительница? — вдруг спросила девочка из первого ряда, повернувшись.

Весь класс захихикал. Наталья постучала мелом по столу: — Разговорчики потом. Вера пока учится быть взрослой. «Учится быть взрослой» — это звучало странно. Вера чувствовала, что многие её «взрослости» уже не по книжкам: война, детдом, дорога в Сибирь. Но здесь, в классе, её прошлое не имело значения. Здесь она была просто Вера — девочка, которая сидит тихо и записывает: «Как не кричать на детей, даже если хочется».

После уроков Наталья посадила её за учительский стол: — Ну? Каково это — видеть класс отсюда? Вера провела ладонью по гладкой столешнице. — Страшно, — честно сказала она. — Будто все смотрят и знают, что ты можешь ошибиться.

— Так и есть, — улыбнулась Наталья. — Но они не знают, что ошибаться ты и так умеешь, верно? Главное — не бояться потом поправить.

Вера опустила глаза в тетрадь. Внутри тихо отозвалось: «Я уже ошибалась. Главное — не останавливаться на этом».

Экзамен провалился тихо.

Чужой, большой город: высокий серый корпус училища, запах мела и дешёвых духов, длинная очередь таких же, как она, — с узелками, потертыми документами, надеждами. Сочинение Вера сдала терпимо, но на математике всё пошло наперекосяк. Ошибка в одной задаче потянула за собой другую, цифры поплыли, и бумага превратилась в серое пятно.

— Не надо плакать, гражданочка, — устало сказал пожилой экзаменатор, когда она сдала тетрадь. — Попробуешь в следующий раз.

Она не плакала. Слезы застряли где-то внутри, как ком. Потом, перед доской объявлений, она долго искала свою фамилию и не находила. Чужие фамилии были как камни, разложенные в ряд, среди которых не нашлось её.

Обратно домой ехала в кузове грузовика вместе с другими девчонками, которым «не повезло». Некоторые всхлипывали, другие уже хмыкали:

— Ну не взяли — и ладно. Пойду в магазин, продавщицы тоже люди.

Вера молчала. Ветер бил в лицо, дорога трясла, а она всё думала: «Наверное, я правда не из тех, кому можно доверять».

чужих детей. Я из тех, кто просто подаёт тетради».

Дома молчание было коротким. Наталья, выслушав, просто сжала губы:

— Жаль. Но не конец света. В следующий год попробуешь ещё.

— А пока что? — спросила Вера глухо.

Георгий откашлялся:

— Пока есть одно место. В детском саду нашей фабрики. Воспитательнице нужна помощница. Я говорил с завхозом, они возьмут тебя хоть завтра. Посмотришь, потянешь ли вообще этих карапузов.

Слово «детский сад» согрело мысль, как слабый, но живой огонёк.

— Вера с ними и так лучше всех управляется, — вставила бабушка. — Соседские дети к ней липнут.

— Только сразу знай, — добавила Наталья. — Там не конфеты раздавать. Работы много, деньги маленькие, ответственности — хоть отбавляй.

— Пойду, — тихо сказала Вера. — Всё равно с детьми мне легче дышать.

Детский сад встретил её запахом манной каши, влажных полотенец и гуаши.

Фабричное здание — один этаж, длинный коридор; по одну сторону — три группы, по другую — кухня, методический кабинет, спальня. На стенах — картинки с краснощёкими малышами, хлопающими в ладоши под лозунгами о свет-

лом будущем.

Старшая воспитательница, Антонина Петровна, посмотрела на Веру прищуром, который умел различать людей за минуту:

— Звонили, говорили, что девка толковая. С детдома, но уже из семьи. Это хорошо. Сама понимаешь, сюда всяких приводят, а дети всё видят.

— Постараюсь, — выговорила Вера.

— Вот и старайся, — кивнула та. — В этой группе малыши, от трёх до пяти. Орут, писаются, любят за волосы дёргать. Кто слабый — быстро сбежит. Кто посильнее — останется.

Первые дни прошли в суете. К крикам малышей, к запаху горшков и мокрых колготок нужно было привыкнуть. Вера крутилась как юла: то шнурки завязать, то утешить плачущего, то вытереть нос, то помочь нарисовать «маму» — круг, палочки, нечёткие глаза.

И странным образом всё это оказалось знакомо. Где-то в глубине памяти всплывали те же запахи и звуки — только раньше она была по другую сторону, маленькой девочкой в детдоме, которую вели за руку к умывальнику. Теперь она сама держала за руки.

Один мальчишка, уцепившись за её халат, однажды всхлипнул:

— А у меня мама заболела... Она не придёт?

У Веры внутри что-то болезненно дёрнулось.

— Придёт, — сказала она тихо. — Если не сегодня — в другой день. А пока я буду за двоих смотреть. Ладно?

Мальчик кивнул, всё ещё всхлипывая, и прижался к ней крепче.

«Вот так, значит, — подумала Вера. — Быть тем, кто говорит: „Я буду за двоих“. Кто бы мне это сказал когда-то...»

Дома жизнь шла своим чередом.

По вечерам в их комнате, где стояли три кровати и стол под лампочкой без абажура, устраивали чтение вслух. Наталья приносила книги из школы — то рассказы, то повести, иногда стихи.

— Сегодня читает Петя, — объявляла она. — Завтра Саша. Потом — Вера.

Петя читал быстро, иногда проглатывая слова; Саша спотыкался, но старался. Вера слушала их голоса и думала, как странно: когда она была маленькой, ей читала мама, Анна, по-польски. Здесь же буквы звучали по-русски, но от голоса Натальи внутри поднималось то же самое чувство, что когда-то рядом с мамой: будто их держит кто-то сильный и не даст рассыпаться.

Когда дошла очередь до неё, Вера взяла книгу осторожно.

— Ну, студентка, покажи класс, — усмехнулся Серёга, который в этот вечер тоже сидел у стола, будто так и положено.

— Молчи, — одёрнула его бабушка. — Не мешай человеку думать.

Вера начала читать. Первые фразы давались тяжело: уда-

рения путались, язык натыкался на слова, которые до этого видела только на бумаге. Но через пару страниц голос выровнялся. Слова текли, и она сама удивилась, что ей нравится читать вслух — будто не только другим рассказываешь историю, но и себе.

— Слушать можно, — кивнул Георгий, когда она остановилась на положенном месте. — Не хуже ваших там, в школе.

Вера спрятала улыбку в книгу. Внутри мелькнула тихая мысль: «Если уж не училище, то пусть будет хотя бы этот стол, эта лампа и эти люди, которые слушают меня не из жалости».

Ночью, глядя на потолок, она шепнула едва слышно:

— *Aniele Boży, stróżu mój...* Береги и тех, кто был, и тех, кто есть.

Польские слова ложились поверх русских впечатлений, как прозрачная калька: два слоя жизни, которые никак не хотели слипнуться в один.

Вечером, когда малышей уже забрали, Вера часто задерживалась в группе: прибирала столы, мыла баночки от красок, проверяла, не осталось ли чьих-нибудь варёжек.

В один из таких вечеров в окно заглянул знакомый силуэт.

— Ты здесь, оказывается, прячешься, — голос Серёги прозвучал почти весело. — А мы думали, тебя опять в учёбу забрали.

Он вошёл, пригнувшись в дверях — казалось, что за последнее время он стал ещё выше. Осмотрелся: маленькие

стульчики, ковер с кубиками, куклы, аккуратно сложенные в ящик.

— Вот это да, — присвистнул он. — Рай для карапузов.

— Или ад, — вздохнула Вера, но улыбнулась. — Смотря в какой момент зайти.

— Ну что, как тебе? — он облокотился о косяк. — Не очень-то ты похожа на проигравшую.

К горлу подступило всё, что она сдерживала эти дни: разочарование от провала, страх показаться неудачницей, усталость от бесконечного «надо».

— Я... — она сглотнула. — Я хотела в училище. А теперь получается, что я просто... при них. Вроде и не совсем воспитательница, и не совсем никто.

— Слушай, — Серёга подошёл ближе и сел на маленький стульчик так, что тот жалобно скрипнул, — ты знаешь, сколько людей вообще никуда не поступали? И живут. Работают. Пьют, правда, многие. Но ты не такая. Ты... — он искал слово, — ты упрямая.

— Это похвала? — фыркнула Вера.

— Большая, — кивнул он. — Я помню, как ты Петю учила читать. Он уже хотел дневником бросить, а ты его за шкуру — и к букварю. Так что, если ты с ним справилась, с этими карапузами тем более справишься.

Слова были простыми, но в них не было ни жалости, ни снисхождения. Будто перед ним была не «детдомовская с проваленным экзаменом», а человек, который умеет делать

своё дело.

— А ты? — спросила она, чтобы отвлечься. — Всё там же, на лесопилке?

— Всё там же, — усмехнулся он. — Доски стругаю, как судьбу. Только судьба упрямее, чем сосна.

Она посмотрела на его ладони — в мелких занозах, с тёмными полосами.

Они сидели в тихой, уже пустой группе; вечерний свет ложился на их лица полосами через узкие окна. Где-то в коридоре скрипнула дверь, щёлкнул замок. Вера вдруг отчётливо почувствовала: в её жизни наступил возраст, когда рядом с ней сидит уже не просто соседский парень, а почти взрослый мужчина.

Он словно тоже это понял. На секунду замолчал, посмотрел не привычно насмешливо, а серьёзно.

Он разглядел её не сразу. Сначала — голос: мягкий, но уверенный, с лёгкой хрипотцой, от которой хотелось слушать дальше, даже если она говорила самые обычные вещи. И только потом — саму Веру.

Она была шатенкой среднего роста, из тех девушек, чья красота не ударяет в глаза, а раскрывается постепенно. Каштановые волосы падали на плечи тяжёлой, послушной волной, в них при дневном свете проступали тёплые медовые пряди, а в тени становились почти шоколадными. Когда она собирала их в небрежный узел, несколько тонких прядей всё равно выскальзывали к вискам — как напоминание о том,

что в ней есть что-то непокорное.

Лицо у неё было не кукольное, не идеальное — живое. Чуть широковатые скулы, прямой нос, упрямый подбородок; на первый взгляд простое, но стоило всмотреться, и становилось ясно, что забыть его трудно. Кожа светлая, легко обгорающая на солнце, с едва заметной россыпью веснушек у переносицы — будто кто-то однажды не удержался и дотронулся до неё кончиками пальцев.

А глаза... Серёга сначала решил, что они карие. Тёплые, глубокие, как чай в гранёном стакане. Но когда она подняла взгляд ближе к окну, в радужке вспыхнула тонкая зелёная кайма, и карий цвет неожиданно отдал янтарём — золотистым, прозрачным, с зелёными искорками, будто в глубине спрятан маленький листок. В разные минуты эти глаза могли казаться то почти совсем карими, тёмными и серьёзными, то светлее, с мягкой зеленью по краю, и тогда в них появлялась какая-то тихая, детская ясность.

Он поймал себя на том, что смотрит не столько на черты, сколько на то, как она держится. Вера двигалась собранно, без лишней суеты, но в этой сдержанности чувствовалась внутренняя мягкость. Плечи — узкие, но прямые; спина привычно ровная, как у человека, который много лет сам себя вытягивал из любых обстоятельств.

Она была не той яркой красавицей, на которую показывают друзьям: «Смотри, какая». Но чем дольше Серёга стоял

рядом — слушал, как она смеётся, как хмурит брови, как откидывает каштановую прядь со лба, — тем сильнее понимал, что именно к этой девушке тянет взгляд. К её тихому профилю в окне, к янтарно-карим глазам с зелёной искрой, к этим простым, но запоминающимся линиям лица, которые однажды увидишь — и уже всегда узнаешь издалека.

— Слушай, Вера... — начал он и осёкся. — Тебе... тяжело было... там?

Он никогда прямо не спрашивал о её прошлом. Знал в общих чертах: детдом, война, погибшие родители. Но сейчас вопрос прозвучал иначе — не любопытство, а попытка дотронуться до самого больного.

Она выдохнула.

— Да, — сказала просто. — Но хуже всего было не тогда, когда голодно. И не когда били. Хуже всего — когда понимаешь, что ты... ничья. Никто тебя не ждёт, не зовёт, не вспоминает.

Он посмотрел прямо ей в глаза:

— Теперь ты — не ничья, — сказал негромко. — У тебя есть Наталья, Георгий, бабка, эти два идиота, — он кивнул куда-то в сторону, словно за стеной сидели Петя с Сашкой, — и... — он чуть замешкался, — и я.

Она замерла, чувствуя, как сердце стукнуло сильнее.

— Ты... друг, — тихо сказала она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.